

А. Доде

Сафо

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3
ББК 84
Д60

Д60 **Доде А.**
Сафо / А. Доде – М.: Книга по Требованию, 2021. – 128 с.

ISBN 978-5-4241-2847-9

В центре романа – дама полусвета Фанни Легран по прозвищу Сафо. Фанни не простая куртизанка, а личность, обладающая незаурядными способностями. Фанни хочет любить, готова на самопожертвование, но на ней стоит клеймо падшей женщины.

ISBN 978-5-4241-2847-9

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2021
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2021
© А. Доде, 2021

Альфонс Доде
Сафо

*Моим сыновьям – с условием, что они
прочтут эту книгу, когда им исполнится
двадцать лет.*

I

– Да ну, посмотрите же на меня!.. У вас красивые глаза... Как вас зовут?

– Жан.

– Просто-напросто Жан?

– Жан Госсен.

– Вы южанин, вас выдает произношение... Сколько вам лет?

– Двадцать один год.

– Вы художник?

– Нет.

– Ах, как хорошо!..

Июньской ночью на бале-маскараде, в оранжерее, где росли пальмы и древо-видный папоротник, служившие фоном мастерской Дешелета, обменивались обрывками этих фраз, заглушаемых криками, смехом, танцевальной музыкой, *pifferaro* [1 – Вольтеррик (итал.)] и феллашка.

На ее настойчивые расспросы *pifferaro* отвечал с простодушием, свойственным его нежному возрасту, с увлечением, с чувством облегчения, которое испытывал сейчас этот долго молчавший южанин. Чуждый миру художников и скульпторов, при входе на бал тотчас потерявший приятеля, который его сюда привел, он целых два часа прохаживался от скуки по залам, а женщины заглядывались на этого красивого блондина с лицом, покрытым золотистым загаром, с мелкими и густыми, как ворс на его костюме, завитками волос, и незаметно для южанина вокруг него уже вздымалась и рокотала волна успеха.

Танцоры толкали его, молодые художники хихикали над вольнкой, которую он держал боком, хихикали над тяжелой одеждой горца, в которой ему летней ночью было мучительно жарко. Между тем японка с глазами простолюдники, с поддерживавшими ее высокую прическу стальными прутьями, задорно поглядывая на него, напевала: «Ах, как ты хорош, ах, как ты пригож, парень молодой!..» А невеста-испанка в шелковом платье с белыми кружевами, идя под руку с вождем индейского племени, яростно тыкала ему в нос букетом жасмина.

Он ничего не мог понять в этих заигрываниях; ему представлялось, что вид у него, наверное, сейчас уморительный, и он предпочел укрыться в прохладной тени застекленной галереи, где у самой стены под деревьями стоял широкий диван. Тут-то к нему и подседа эта женщина.

Красивая, молодая?.. Это он не сумел бы сказать... Из длинного синего шерстяного платья, обтягивавшего ее полное тело, выступали голые до плеч тонкие округлые руки. Изыщные пальцы, унизанные кольцами, серые, широко раскрытые глаза, величину которых подчеркивали свисавшие со лба затейливые металлические украшения, – все это удивительно гармонировало.

Наверно, актриса. У Дешелета их перебивало много. Эта догадка встревожила его – подобная категория женщин внушала ему непреодолимый страх. Она сидела рядом, уперев локоть в колено, уронив голову на руку, и смотрела на него торжественно-грустно и слегка утомленно.

– Нет, вы правда южанин?.. А волосы какие светлые!.. Это редкость.

Потом ей захотелось узнать, когда именно он переехал в Париж, труден ли экзамен на право занятия должности консула, много ли у него знакомых и как он

очутился на вечеру у Дешелета, на Римской, так далеко от Латинского квартала.

Когда он назвал фамилию студента, который его сюда привел (Ла Гурнери... родственник поэта... ей, конечно, известно это имя...), лицо ее внезапно омрачилось, но он не обратил на это внимания: он был еще в том возрасте, когда глаза блестят, ничего не видя вокруг. Ла Гурнери обещал, что его двоюродный брат тоже будет здесь и что он их представит друг другу.

– Я так люблю его стихи!.. Я был бы счастлив с ним познакомиться...

Она грустно улыбнулась, – видимо, он внушал ей жалость своей непосредственностью, – изящным движением приподняла плечи, а затем, отведя рукой легкие листья бамбука, устремила взгляд на бал – не видать ли там великого человека.

Празднество между тем блистало и кружилось, как апофеоз в феерии. В мастерской никто не работал, а потому ее скорее можно было назвать холлом, и на легких, летних обоях этой громадной двусветной залы, на шторах из тонкой соломы, на газовых занавесках, на лакированных ширмах, на разноцветной посуде, на кусте желтых роз, закрывавшем очаг высокого камина в стиле Возрождения, играл причудливый, радугой переливающий свет бесчисленных фонариков, китайских, персидских, мавританских, японских, из резного железа, со стрелчатым сводом, точно дверь мечети, из цветной бумаги, придававшей им сходство с плодами, распахнутых в виде веера, напоминавших цветок, птицу ибиса, змею. По временам стремительная мощная струя голубоватого электрического света заставляла тускнеть сонм огоньков и заливала лунным сиянием лица и обнаженные плечи, фантазмагорию тканей, перьев, блесток, лент, во время танцев задевавших одна другую, поднимавшихся по голландской лестнице с широкими перилами, ведшей на галереи второго этажа, над которыми возвышались грифы контрабасов и мелькали осатанелые взмахи дирижерской палочки.

Молодой человек смотрел на все это сквозь сетку зеленых ветвей и цветущих лиан, составлявших часть убранства, обрамлявших празднество, и в силу обмана зрения ему казалось, будто навстречу танцевальной суете взлетают гирлянды глициний и увивают серебряный шлейф принцессы, будто лист драцены накрывает милую головку пастушки, одетой в стиле помпадур. Его интерес к зрелищу усиливался благодаря тому, что египтянка называла имена – широко известные, славные имена, скрытые под маскарадными костюмами, забавными в своем разнообразии и замысловатости.

Псарь с коротким хлыстом через плечо – это Жадэн. Чуть дальше – в поношенной сутане сельского священника – старик Изабе; он кажется выше своего роста оттого, что в каждую из его туфель с пряжками подложена целая колода карт. Из-под огромного козырька фуражки инвалида улыбается старик Коро. Еще она ему показала Тома Кутюра, вырядившегося бульдогом, Юндта, вырядившегося «тюремной крысой», и Хама, вырядившегося диковинной птицей.

Пышные исторические костюмы, в которые облеклись совсем молодые художники, изображавшие кто Мюрата в шляпе с султаном, кто принца Евгения, кто Карла I, подчеркивали разницу между двумя поколениями: молодые художники были мрачны, холодны, их лица напоминали лица биржевиков, которых старят особого рода морщины, пролагаемые заботами о деньгах, зато старики были куда более шаловливы, шумливы, ребячливы, непоседливы.

Несмотря на свои пятьдесят пять лет и академические пальмы, скульптор Каудаль был в костюме балаганного гусара, с голыми руками, выставлявшими напоказ мощные бицепсы, с подвешенной наподобие ташки палитрой, бившей его по длинной ноге; он покачивал бедрами, представляя последнего кавалера времен Гранд-Шомьер, а напротив него композитор де Поттер, который изображал подгулявшего муэдзина, в тюрбане набекрень танцевал танец живота и пронзительно выкрикивал: «Алла ил алла!»

Широкий круг гостей отгораживал расшалившихся знаменитостей от танцоров. На самом виду хозяин дома Дешелет шурил под высокой персидской папайкой свои маленькие глазки, морщил калмыцкий нос, выставлял седеющую бородку, радовался тому, как развлекаются другие, и сам неприметно для окружающих веселился от души.

Инженер Дешелет, лет десять-двенадцать тому назад представлявший собой заметную фигуру в парижском художественном мире, щедрый, богатый, с попользованиями на причастность к искусству, отличавшийся той внутренней свободой, тем презрением к общественному мнению, которое вырабатывает в человеке образ жизни вечного путешественника и холостяка, в ту пору строил железную дорогу Тавриз – Тегеран и каждый год, чтобы прийти в себя после десятимесячного напряжения, после ночей в палатке, после лихорадочной скачки по пескам и болотам, проводил самое жаркое время года вот в этом особняке на Римской улице, построенном по его чертежам, обставленном, как летний дворец, собирав у себя умных мужчин и красивых женщин и требовавший от цивилизации, чтобы она за несколько недель угостила его самыми пряными своими лакомствами.

«Дешелет приехал!» Как только, подобно театральному занавесу, над многооконным фасадом особняка поднимался огромный тиковый навес, новость мгновенно обегала мастерские. Это означало, что пойдет веселье, что предстоит два месяца музыки и танцев, приволья и раздолья, будившего сонную тишь богатого квартала, развешавшегося по дачам и морским курортам.

Сам Дешелет не участвовал в вакханалии, день и ночь бурлившей вокруг него. Неутомимый гуляка привносил в развлечения буйство холодное, он смотрел по сторонам блуждающим, улыбочивым взглядом человека, только что накурившегося гашишу, и вместе с тем взгляд его поражал несокрушимым спокойствием и несокрушимой трезвостью. Верный друг, дававший взаймы без счета, к женщинам он питал чисто восточное презрение, уживавшееся со снисходительностью и учтивостью. И ни одна из тех, что приходили к нему, привлеченные его огромным состоянием и жизнерадостной изобретательностью его окружения, не могла похвалиться, что была его любовницей больше одного дня.

– Что ни говорите, а человек он хороший... – добавила египтянка, продолжавшая просвещать Госсена, и вдруг, оборвав себя на полуслове, воскликнула: – Вот он, ваш поэт!..

– Где? Где?

– Да вот, прямо перед вами... в костюме деревенского жениха...

У молодого человека вырвался вздох разочарования. Так вот он, его любимый поэт! Толстяк, лоснящийся, потный, в пристежном воротничке, в пестром жилете, точно снятом с деревенского щеголя, расточающий тяжеловесные любезности!.. Госсену мгновенно пришли на память вопли отчаяния из «Книги о любви»,

которую он не мог читать без лихорадочного волнения, и он машинально произнес вслух:

Чтоб жизнь вдохнуть, Сафо, в твой горделивый мрамор,
Ты знаешь – отдал я по капле кровь мою...

Она живо обернулась, отчего пришли в движение и зазвенели все ее восточные украшения.

– Что вы сказали?

Это были стихи Ла Гурнери. Госсен удивился, что она их не знает.

– Я не люблю стихов... – отрезала она.

Некоторое время она стояла неподвижно, хмурия брови, глядя на танцующих и нервно теребя чудесные гроздьи сирени. Затем, справившись с волнением, что, видимо, стоило ей немалых усилий, сказала:

– Прощайте!

И скрылась.

Бедный риффераго остался в полном недоумении. «Что с ней?.. Неужели я сказал ей что-нибудь обидное?..» Он стал припоминать, но так ничего и не припомнил и подумал, что самое лучшее – пойти домой спать. С унылым видом подхватил он свою волюнку и, менее озадаченный исчезновением египтянки, чем необходимостью пробираться к двери через всю эту толпу, вошел в бальную залу.

Сознание, что здесь столько знаменитостей, а он никому не известен, навредило на него еще большую робость. Уже никто почти не танцевал. Лишь несколько парочек с остервенением вертелись под звуки замиравшего вальса, и среди них Каудаль, величественный, громадный, держа голову прямо, кружил низенькую санколотку, – волосы у нее развевались, а он крепко держал ее своими красными руками.

В настежь распахнутое большое окно в глубине залы потоками вливался утренний бледнеющий воздух, колыхал листья пальм и пригибал огоньки свечей, как бы стараясь задуть их. Вспыхнул бумажный фонарик, загорелись розетки. Вдоль стен слуги расставляли круглые столики, как на террасах кафе. У Дешелета всегда так ужинали – по четыре, по пять человек за столиком. И вот тут-то вы подбирали симпатичных вам людей и объединялись с ними.

Смешались возгласы, свирепые переклички, непристойный жаргон окраин, отвечавший на крикливое «йю-йю-йю-йю!» дочерей Востока, разговоры вполголоса и сладострастный смех женщин, возбужденных лаской.

Госсен воспользовался было суматохой, чтобы проскользнуть к выходу, но в эту минуту его приятель-студент, вспотевший, с выпученными глазами, держа под мышками бутылки, остановил его.

– Где вы пропадаете?.. Я вас искал, искал... У меня уже есть столик, женщины, маленькая Башельри из Комедии-Буфф... Запомните: она одета японкой... Она послала меня за вами... Скорей, скорей!..

С этими словами он убежал.

Риффераго хотелось пить. Вдобавок ему кружил голову бальный хмель, а тут еще славенькая актрисулька делала ему знаки. И вдруг над самым его ухом послышался мягкий, настойчивый шепот:

– Не ходи туда!..

Он оглянулся: перед ним стояла его давешняя собеседница, затем она повела

его к выходу, и он не колеблясь последовал за ней. Почему? Тут действовали не чары этой женщины: он ее едва разглядел, а та, что звала его, кивая высокой прической на стальных прутьях, нравилась ему гораздо больше. Он подчинился более сильной воле, неукротимой страстности желания.

«Не ходи туда!..»

И вот они очутились на тротуаре Римской улицы. Освещенные бледным утренним светом, дожидались седоков фиакры. Метельщики, шедшие на фабрику рабочие окидывали взглядом разбушевавшийся, расплескавшийся пир, эту масленицу в разгаре лета, и ряженую парочку.

– К вам или ко мне?.. – спросила женщина.

Госсену почему-то подумалось, что лучше бы к нему, хотя жил он далеко, и он дал извозчику свой адрес. В продолжение всей дальней дороги они почти не разговаривали. Она только держала его за руку, и он чувствовал, что руки у нее маленькие и холодные. Если б не холод этого нервного прикосновения, он мог бы подумать, что его спутница уснула, – она откинулась на спинку фиакра, и по лицу у нее скользил голубой отсвет шторы.

Фиакр остановился на улице Жакоб, против дома, где жило студенчество. Подняться надо было на пятый этаж – высоко и трудно.

– Хотите, я вас понесу?.. – спросил он, смеясь, но смеясь чуть слышно, оттого что все в доме спали.

Она смерила его медленным взглядом, пренебрежительным и нежным, оценивающим взглядом опытной женщины, внятно говорившим: «Бедное дитя!..»

Тогда он, отдавшись красивому порыву, свойственному его возрасту и южному происхождению, подхватил ее на руки, понес легко, как ребенка, – цвет лица у него был девичьи нежный, а сам он был сильный и стройный, – и, счастливый тем, что у него такая ноша, тем, что его шею обвили красивые свежие голые руки, не поднялся, а взлетел на второй этаж.

Подъем на третий этаж продолжался дольше и уже не доставил ему удовольствия. Безвольное тело женщины становилось все тяжелее. Ее металлические висюльки сначала приятно щекотали его, а теперь они все яростнее в него впились.

На четвертом этаже он дышал так шумно, словно перетаскивал фортепьяно. Он ловил ртом воздух, а она, глядя на него из-под полуопущенных век, в восторге шептала:

– Ах, дружок, как приятно!.. Как хорошо!..

Когда же он одну за другой брал приступом последние ступеньки, ему казалось, будто перила, стены, узкие окна гигантской лестницы бесконечной спиралью уходят вверх. Не женщину нес он теперь, а что-то тяжелое, страшное, от чего он задыхался и что каждую секунду готов был выпустить из рук, злобно швырнуть, хотя бы даже оно разбилось вдребезги.

Но вот он поднялся на узкую верхнюю площадку.

– Уже?.. – открыв глаза, проговорила она.

А он, бледный как смерть, прижав руки к сердцу, которое, казалось, вот-вот разорвется, подумал:

«Наконец!..»

Подумал, но не сказал.

Что же такое вся их история и этот подъем на лестницу в тоскливой пасмури

утра?

II

Он продержал ее у себя два дня. Потом она ушла, оставив у него ощущение нежной кожи и тонкого белья. Она сообщила ему только свое имя, адрес и прибила:

– Когда я вам буду нужна – позовите... Явлюсь по первому зову.

На маленькой визитной карточке, изящной, надушенной, было напечатано:

//- Фанни Легран – //

//- Улица Аркад, 6 – //

Он сунул ее за зеркало между приглашением на бал в министерство иностранных дел и затейливо разрисованной программой вечера у Дешелета, – это были два его выхода в свет за целый год. И воспоминание о женщине, несколько дней еще плававшее вокруг камина в легком и нежном облаке аромата, улетучилось вместе с облаком, и у серьезного, трудолюбивого Госсена, пуще всего остерегавшегося парижских развлечений, даже не возникло мысли возобновить мимолетную связь.

Экзамен при министерстве должен быть в ноябре. На подготовку остается всего три месяца. После экзамена надо будет еще три-четыре года стажировать в канцеляриях, а потом он куда-нибудь уедет, уедет очень далеко. Мысль о добровольном изгнании не пугала его, – традиция Госсен д'Арменди, старинного авиньонского рода, требовала, чтобы старший сын делал себе, что называется, карьеру – по стопам своих предшественников, с их благословения и при их нравственной поддержке. Для нашего провинциала Париж являлся лишь первой остановкой на долгом-долгому пути, и это обстоятельство препятствовало образованию мало-мальски серьезных привязанностей как в любви, так и в дружбе.

Однажды вечером, недели через две после бала у Дешелета, Госсен зажег лампу, разложил на столе книги и только сел за работу, как вдруг кто-то робко к нему постучал. Он отворил дверь и увидел даму в изящном светлом туалете. Узнал он ее лишь после того, как она приподняла вуалетку.

– Как видите, это я... Я опять пришла...

Перехватив озабоченный, недовольный взгляд, который он бросил на начатую работу, она добавила:

– О, я вам не помешаю!.. Я знаю, как это бывает неприятно...

Она сняла шляпку, взяла «Вокруг света», села и, по видимости углубившись в чтение, больше уже не шевелилась. Но всякий раз, как Госсен поднимал на нее глаза, их взгляды встречались.

Право же, надо было обладать изрядной выдержкой, чтобы тотчас же не сдавить ее в объятиях – так она была соблазнительна, так много обаяния было в ее маленькой головке с низким лбом, во вздернутом носике, в чувственных, добрых губах, в гибкой зрелости тела, облаченного в платье, сшитое с парижской безукоризненностью, более для него притягательное, нежели балахон дочери Египта.

Наутро она ушла от него рано, но потом до конца недели приходила еще несколько раз, всегда бледная, с холодными влажными руками, и говорила голосом, сдавленным от волнения.

– Я же вижу, что я тебе надоедаю, что я тебе мешаю, – твердила она. – Во мне